
Полина МИХАЙЛОВА

ОДНО

Рассказ

Утром тридцать первого декабря Есения поняла, что в браке с Елисе-ем больше всего ее изматывают ночные разговоры. Она приподнялась со свежeweысти-ранной простыни, наклонилась поцеловать мужа — его благородные рыжие волосы слились в пугающую однотонность с ее морковными кудрями, — встала и вышла из дома.

Есения и Елисей рассказывали друг другу сны (вопрос «Что тебе снилось?» бывал первым после пробуждения), поэтому Есения шла и вытаскивала из памяти сегодняш-ний сон, чтобы спрятать и не потерять. Стояла осенняя, совсем не новогодняя сля-коть. Пахло ноябрем. Корки черного снега врезались в неестественно светлую, салат-ную траву.

Ночные разговоры случались редко, как попало, но след от них оставался таким же незначительно отчаянным, как порез от бумаги. Чаще всего Есения и Елисей разгова-ривали о том, что мучает Есению — и от этой подробности под языком у Есени рожд-ался неуничтожаемый вкус вины, будто во всех шероховатостях их разостланного по тягучему времени брака виновата была она.

В целом в браке с Елисеем все было превосходно. Кроме одного: он никогда не го-ворил приятных слов. «И как это может не тяготить, — думала Есения, — представи-ла бы я кого-нибудь на своем месте». Нет, Елисей, конечно, говорил те словосочета-ния и выражения, которые считают приятными в современном языке влюбленных. Другое дело, что такие выражения совершенно Есению не трогали. К таким общепри-нятым фразам, которые произносил Елисей, относились: «ты самая лучшая», «мне все нравится в тебе» и, конечно же, «люблю тебя». Разумеется, ни одна из них Есению ни капельки не цепляла.

Мимо Есении скользили мокрые, испещренные декабрьским дождем машины — она шла к парку. Мягкие ладони экзотического и фальшивого декабрьского тепла трепали ее за щеки. Многие из жителей окрестных домов не выключали гирлянды на ночь, отчего казалось, что утро не пикирует на город, просачиваясь жар-птицей сквозь пасмурное небо и слоистые облака; напротив, думалось, что утро уже теплится в этих самых гирляндах, в каждом окне и что люди рожают утренний час сами, вместе с его приглушенными и бархатными красками. Напротив одного из подъездов, настоль-ко близко к Есениному дому, что его получилось бы увидеть из окна (она еще не успе-ла уйти далеко), растянулись граффити. Буквы были настолько большими, что автору художеств не раз пришлось сделать перенос, из-за чего признание расширилось не просто до края тротуара, но и вышло на дорогу, как раз на ту часть, где располагаются

Полина Александровна Михайлова родилась в Москве в 2002 году. Окончила философский факультет МГУ им. Ломоносова. Стихи и проза печатались в журналах «Кольцо А», «Изящ-ная словесность», «ЛИтега». Автор сборника стихотворений «Ранка на ладони» (Оренбург: ИД МВГ, 2022).

дренажные решетки для слива дождевой воды. «Милая Жен-я, ты самая краси-вая, я тебя люб-лю».

Чуждость. Пытливее и страстнее всего Есения хотела услышать от Елисея совсем другие слова, далекие от общепринятых, что называется, сопливых, но таких могучих для многих молодых людей. Это был секретный, чуть ли не обожествляемый язык, придуманный Есенией когда-то в далеком детстве, когда от нее уехала мама и она лихорадочно, до самозабвения захотела стать с кем-то единой, утонуть с кем-нибудь в жаркой бессознательной любви. Мама Есении была вечно сияющей и вечно молодой женщиной удивительно нежного весеннего цветотипа. Полупрозрачная мамина кожа, тонкая, но жесткая, как органза, позволяла просвечиваться фейерверкам вен. За счет этого маму вечно сопровождало сказочное фосфорическое свечение, она была похожа на лесную нимфу, на которую нацепили городскую одежду и заставили жить там, где никогда, за бетонными серыми коробками, не видно горизонта. К горизонту мама и уехала. Когда Есении было восемь, мама получила работу, подобающую лесной нимфе: ее пригласили стать ландшафтным дизайнером строящегося пространства для живописцев в одной португальской деревне. Через год авиарейс в Aeroporto Francisco Sá Carneiro в городе Порту уже стал одним из тысяч совершенных рейсов, оставшихся в базах данных. Девятилетняя Есения претерпела разлуку. Несколько лет спустя Есении все еще мерещился мамин запах; от каждой женщины, носившей итальянские сладковатые духи, исходила та самая мучительная теплота, по которой она так скучала; повсеместно распались на атомы мамины золотые волосы, которыми мама, тогда, на диване, касалась детских коленок. До совершеннолетия Есения даже носила при себе пару оставленных мамой вещей: парео и ночную рубашку, и изредка, только в исключительных случаях позволяя себе слабость поднести их к носу, но не к фильтруму — тому самому желобку между носу и губами, название которого мы никогда не знаем, — а к кончику, едва касаясь ткани. Есения верила в эти успокоительные афоризмы, которые рассказывают обычно людям, пережившим разлуку; догадывалась также и о том, что и сама может сочинить что-то похожее. Например, Есения хорошо знала ницшеанское «все, что не убивает, делает нас сильнее» или что, уходя от нас, люди не делают ничего, кроме как указывают на наши собственные ошибки. Однако рассказывающие подобное забывают, что в их заключениях речь идет о разлуке романтической, но никак не о той фундаментальной — о той поразительно смыло — и человекообразующей, как разлука с мамой. С тех пор они виделись с мамой несколько раз, десять или пятнадцать (Есения не считала), и каждая встреча побуждала либо игнорировать, либо разбереживать вечную растущую внутри рану. Из раза в раз Есения не выбирала ни первое, ни второе. Она предпочла жить размеренно и честно, не забывая мать, но отдаваясь всецело любви с Елисеем, отчего его можно было назвать счастливейшим мужчиной, если бы не мучительные ночные разговоры.

Дело было не в том, что Елисей забывал или игнорировал то, какими желанными для Есении могут быть и другие фразы; не в том, что Есения никогда ему об этом не говорила (напротив, оба из них понимали, что для счастливого брака необходимо как можно больше общаться); или не в том даже, что он специально позволял себе избегать пристрастия жены к такой, казалось бы, невинной вещи, как слова. Причина молчания Елисея была такова, что он не мог представить себе всей силы, всей амплитуды желания, с которыми его жена жаждала не только совершенно определенных фраз, но и их воплощения в реальность. В самом жутком или, напротив, в самом изумительном сне Елисей не способен был пережить тот вид разрушающего смертоносного опыта, который был пережит его женой в детстве. А чем несуществующий кентавр отличается от существующего малоизвестного собора в Париже, который никто никогда не видел?

Итак, Есения хотела услышать от Елисея нечто на своем сакральном, выдуманном языке. К примеру, «я никогда не сяду на самолет без тебя» или «мы никогда, ни на сантиметр, не расстанемся» (и если первую фразу можно понять, пусть даже и психоаналитически, то для второй явно нужна сноровка во временном разрыве с физикой). Но главным предметом вождения Есени — которое никогда, никогда у нее не получалось утолить — были три простых слова: «Мы с тобой Одно». Причем произносить их следовало с высшей степенью упоения и привязанности, представляя слова написанными, так, что Мы и Одно были написаны с большой буквы.

* * *

Проблема была в том, что Елисей напрочь отказывался говорить Есени эти слова.

Собственно, мучительные ночные разговоры и сводились к тому, что Есения пробовала узнать у Елисея, почему он «не способен ради жены на все» и «чего ему стоит произнести эту приятную, детскую мелочь», которая ничего не изменит, но сделает жене приятно. Длительный ответ Елисея — вопреки всем самым затейливым Есениным философским догадкам — на самом деле звучал коротко и прозрачно. Елисей в отличие от Есени не лгал.

Будучи аккуратным и ответственным мужчиной, Елисей просто не мог произнести того, чего не мог сделать. Он, быть может, не против был потакать слабостям жены и даже в глубине души хотел того, о чем говорила Есения, но несколько не понимал, как это реализовать. Как это — быть Одним?

— Звучит эзотерично, но можно же попытаться это эмпирически представить! — кричала порой Есения, впечатывая свои громкие мысли в ночь.

Мысль стать Одним казалась самой Есени настолько отчетливой, что она испытывала раздражение, вибрирующее скулы, когда кто-нибудь (а единственным, кто знал об этом, был Елисей) не мог примириться с этой мыслью или обзывал Есенин порыв витиеватым либо, не дай бог, поэтическим.

— У нас же разные руки, разные ноги, пищеварение, наконец, сны... Разномастный список не кончается, — рассуждал муж.

— Как бы не так, — отвечала Есения, — я говорю вовсе не о том. Это, пожалуй, правда, но ты попробуй подумать, что мы с тобой — одна мысль, один логос, одно дыхание, один порыв. Мы ведь любим друг друга! Что моя боль — это твоя боль (более того, ты ее даже чувствуешь острее). Что... Что ты ставишь мои интересы выше своих, а я точно так же — твои.

— Выше своих? Как же это? — отвечал Елисей. — Раз уж мы с тобой Одно, разве не существуют теперь только Наши интересы? Не все ли тогда смешивается в Наше?

Есения молчала.

— Любимая, пока не пойму, не буду употреблять эту фразу, — говорил Елисей.

— Опять ты за свое, Милый. Знаю. Я всего лишь хочу, чтобы...

— Чтобы я сказал слово, за которым ничего не стоит?

— Разве ты не видишь, что и ты плачешь, когда я плачу? Вот как сейчас. И я делаю по отношению к тебе то же самое.

— Отлично. Теперь я понял. Даже если мы с тобой Одно — пусть в твоём смысле — Любимая, мы с тобой все равно разные: правая и левая рука.

Правая и левая рука. Вот же действительно помеха! Как злили Есению их с Елисеем различия. Это касалось не только слов. Например, чрезвычайно злило Есению то, что Елисей предпочитал работать ночью, а не днем и поэтому утром допоздна и вволю спал; или то, что Елисей всюду, в забегаловках и кафе, выбирал холодный чай — что есть не что иное, как просто подслащенная слабая газировка, — а Есения, напротив, пи-

ла только горячий. После своего позднего пробуждения Елисей — о, старая, замызганная российскими фильмами привычка — любил закуривать прямо в кровати; на этот случай на прикроватном столике всегда лежали зажигалка и пачка вишневого «Чапмэна». Есения же вставала рано, быть может, в семь, иногда в восемь утра. После пробуждения она всегда читала стихи: Северянина, Асадова и кого-нибудь из современных, может быть Хмельницкого. Поэзия помогала ей настроиться на жизненный ритм: если там, за гранью опыта, и сидел Бог, по профессии он неизменно был дирижером — верила Есения. Так и многие другие вкусы у Есени и Елисея до мелочей не совпадали: это касалось и выбора фильма (Елисей терпеть не мог читать художественные книги и смотрел фильмы, в то время как Есения считала, что кинематограф отупляет и не дает мысли обрести смелость, необходимую для обогащения души в контакте с предметом искусства), и стран для путешествий. Набрать ванну после работы, вечером, и опустить в нее гудящие ноги — единственная привычка, в которой Есения и Елисей сходились. Любая попытка Есени заявить о своей злости и попытаться объединиться с Елисеем хотя бы в рутине, как вечная река, врезающаяся в построенную невечными и маленькими секундами-людьми плотину, выходила в ругань.

А то, что Есения не могла терпеть больше всего на свете — это ругаться с Елисеем. Именно тогда она, как нигде, чувствовала великую разность, великую инаковость и безысходность от недостижимой близости с Елисеем, которой и он жаждал, возможно, больше самой Есени. В моменты раздора она плакала не от того, что ее не слышат или мир работает не так, как она хотела. Нет, Есения плакала потому, что в моменты ссоры, а в особенности после них, шаблонные пустяки окрашивались в непоправимое, кафотическое томление, острую грусть от упущенного момента, в который Есения и Елисей могли бы быть счастливыми. Могли бы быть единым.

Особенно остро Есения чувствовала это «могли бы» в моменты кратковременной разлуки, на семь или восемь дней, когда ей приходилось уезжать. Есения работала ландшафтным дизайнером, как и ее мать, а подобное занятие предполагало если не интерес, то хотя бы предрасположенность к перемещениям. Таковой Есения не обладала. Любые расставания Есения переносила сложно: начинала без меры, умопомрачительно скучать. Однако отсюда проистекало и самое любимое чувство в жизни Есени: чувство воссоединения с Елисеем. Когда ее спрашивали о счастье, она всегда повторяла, что лучшие моменты ее жизни — встречи после разлуки, сладкие, как марципановые дома, в которых живут марципановые люди. Но если стать одним целым — разве не исчезнут эти моменты? Сладостные и изумительные.

* * *

Размышляя, Есения завернула в парк. На кусте сирени, обманутом внезапным потеплением в декабре, начали зреть темные узкие почки. На парк опустился туман, и дорожки, которые весной просматривались до самого конца, теперь было почти не разглядеть и на три метра вперед. У самого входа в парк росли два дерева, которые Есения помнила с детства: липа и маньчжурский орех. Однажды с ними что-то произошло — может быть, какая-то птица, белка или попросту ветер занесли в тугую рыхлость липового ствола маньчжурские семена — но из ствола жирной, сочащейся миром даже в такую погоду липы начала расти ветка маньчжурского ореха. Это переплетение всегда радовало Есению. В детстве она приводила сюда племянника и многочисленных, неизвестно откуда бравшихся и желавших погостить троюродных сестер, чтобы показать им волшебство, которым, как известно, обладает тот, кто его открыл. Коль скоро, конечно, мы чудимся Земли как чего-то постороннего, внешнего, и говорим о фактах

не «мы изобрели факт», а «мы его открыли», лишь открыли. Странное, но такое источающее жизнь слияние деревьев разных родов заставило Есенина остановиться около них, как всякий раз в детстве и продолжающейся юности. «Как, должно быть, прекрасно им быть все время вдвоем, — подумала Есенина. — И не просто вдвоем, вместе, а единым целым».

Что шумишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Низко наклоняясь
Головою к тыну?

Как бы я желала
К дубу перебраться;
Я б тогда не стала
Гнуться и качаться.

Близко бы ветвями
Я к нему прижалась
И с его листьями
День и ночь шепталась.

Нет, нельзя рябинке
К дубу перебраться!
Знать, мне, сиротинке,
Век одной качаться¹.

Где-то в глубине, в кресте детства, который мы всю жизнь носим у себя под сердцем, у Есенина запелась песня, написанная вроде бы два века назад угличанином Суриковым, запелась скрипучим дедушкиным голосом. Раньше дедушка напевал ее постоянно, а маленькая Есенина то никогда не понимала, отчего рябине, которая растет на берегу реки, нельзя перебраться к дубу на другой берег, то ощущала реку настолько мощной и непреодолимой преградой, что вбегала в комнату и падала лицом на кровать, пока дедушка не заканчивал петь.

«Должно быть, вот в чем истинный, космогонический кошмар всех влюбленных, вот в чем причина разногласий всех на свете людей — различие, — подумала Есенина. Она с завистью дотронулась тыльной стороной ладони, так, как мы трогаем лоб ребенка, когда проверяем температуру, до ствола мускулистого и потерянного в вечной неге с липой маньчжурского ореха. — Но больше всего от контраста, от гротескности происходящего во время ссор. Вкупе с нежностью к любимому мы в глубине души никогда, в сущности, не признаем его как кого-то отдельного — ссорясь, мы испытываем удивление, мы чувствуем действительную разность друг друга, и нам больно оттого, что мы никогда, никогда не достигнем с любимым существом состояния, в котором мы ни на минуту не будем чувствовать самое родное чужим. Как мы пугаемся того, что тот, кого мы любим и с кем живем, нам, оказывается, чужд! Пусть это состояние длится недолго, но ссоры были бы всяко лучше, если бы нам не приходилось высказывать свои желания, а наш любимый хотел бы их столько же, сколько и мы. Но это возможно разве что лишь у липы и маньчжурского ореха. Как, стало быть, фантастически им хорошо!»

¹ Суриков И. «Что шумишь, качаясь...?»: Стихотворения, 1864.

Есения завидовала.

Она не пнула, а аккуратно дотронулась ребром ботинка до мертвых орехов на парковой дорожке, беспощадно убитых зимой, снова безрезультатно взгляделась в туман, грозящий всякому при хоть каком-нибудь углублении в парк, и направилась в сторону дома.

Вернулась в десять утра: большинство гирлянд на соседских окнах все-таки были потушены — видимо, ради экономии энергии перед вечерним новогодним торжеством, — а игрушки на елке, лохматившейся во дворе, сияли непредвиденной влагой чудаковатого декабря.

— Милая, ты уже придумала, какое желание загадаешь на Новый год?

Елисей стоял в шортах, прижимая кружку утреннего чая к груди, отчего на голой коже — в том месте, где, как считает обыватель или страдалец, теплится душа — оставался розовый ореол. Такая деталь делала Елисея — мускулистого низкого человека, с подростковых лет привыкшего к старанию, нагрузкам и тому, что красоты (в себе и в своем деле) нужно добиваться — едва заметно уязвимым. Елисей работал кондитером, делая клиентам торты на заказ, работал из дома. Он верил, что настоящее искусство должно быть «поглощено»: если зритель, слушатель или читатель не может поглотить восхитившее его искусство, то есть, прямо говоря, съесть его, — грош цена такому произведению. Поэтому Елисей сочинял, пек, расцвечивал и декорировал торты. Подобные этим тортам, елисеевским (по иронии имени созвучным с названием знаменитого московского гастронома), невозможно было нигде найти: каждый из них был квинтэссенцией мастерства и чуткости. Елисей вырос в безграмотной, но любящей жизнь семье, жившей на протяжении двух веков в тверском городе Калязине. В 1940 году при строительстве Угличской гидроэлектростанции две трети города затопило: под воду ушел старинный дом, ушло бабушкино и дедушкино детство. Жителям предложили квартиру в остающемся над водой районе города, но семья Елисея предпочла оставить все (горе уже случилось) и переехать в Москву. Молодой Елисей вырос на Ладожской, в самом центре Москвы — на улочке, примыкающей к Немецкой, Лефортовской, слободе. В этом месте, где колеблется хрупкая лаконичность и в людях, и в архитектуре, Елисей научился видеть прекрасное и печь. Его дед, уроженец затопленного, теперь уже мистического, города, изящный и нестареющий мужчина, учил Елисея лепить замки и короны из терракотовой мастики, выравнивать торты, не имея нужного инструмента, готовить густой и стойкий гвоздиковый крем (который не встретишь ни у одного кондитера в мире). За годы жизни на Ладожской Елисей превратился в доброго, отзывчивого и благовоспитанного мужчину, мечтавшего о семье и о собственной кондитерской. Есения помогла осуществить обе мечты. Мысленно муж Есени уже готовился к исполнению заказа на первое января: пара заказала торт на свадьбу. Молодая, кучерявая и черномазая Карина, похожая на тургеневскую Клару Милич, в одной руке сжимала стойкую чайную ложечку, в другой — ладонь художавого Антона, блондина с острыми чертами лица и тонкими бровями: Елисей принимал заказ в кафе. Говорили мало: сообщили о предпочтениях в цветах (лазурные тона, от ультрамаринового до светло-голубого, космическая тема), о начинке (настояли на пралине). Попросили сделать фигурки из мастики. «Фигурки — классика для свадьбы, — мелькнуло в голове у Елисея, — а вот с космосом надо будет разобраться. И кто делает свадьбу зимой?» За торт Елисей взял втридорога и вперед, потому что (как он сказал клиентам) процесс приготовления отнимал у него время от праздника с женой. На самом же деле Елисей и Есения до безумия обожали моменты, когда, склонившись над столешницей, они оказывались вдвоем и только вдвоем; когда создавали вместе очередной шедевр — придумывали, доделывали, критиковали, унич-

тожали, придумывали снова — не выходя из кухни часами. Однако сейчас Елисей спросил Есению о новогоднем желании.

— Совсем нет, не придумала,— ответила Есения и подошла к гостиному окну, будто уже успела заскучать по дождю, только вернувшись с прогулки.

— Ты самая лучшая, — услышала она из кухни привычные, не трогавшие ее слова.

В действительности Есения давно придумала желание, но не хотела ссориться: сказав его вслух, она непременно обратила бы сплетенный массивной реальностью дождливый предновогодний день в невесомое дыхание ночных мучительных разговоров. Желание было ясным: стать Одним.

* * *

Новогоднюю ночь Есения и Елисей отметили бодро, но осторожно, стараясь не расплескать ту близость, которую у них получилось накопить. Наверное, одна из нужных вещей в жизни, чтобы вовеки не быть душевнобольным, — никогда не чувствовать, что можешь «расплескать» что-то самое важное. Это сказал Есени Елисей, придерживая ее худенькое, смуглое даже в бессолнечные месяцы плечо.

Много лет, с самого их знакомства, Есения и Елисей придерживались традиции целоваться под бой курантов. Все двенадцать ударов они сливались в поцелуе, загадывая новогоднее желание. Так было и в этот раз. Оставив горбатый новогодний стол, похожий на инсталляцию Луизы Буржуа «Разрушение или уничтожение отца», на которой оранжевые и шершавые, как хлеб, фонари (на нашем столе это были мандарины) румянятся в печи или стынют в пещере (для смерти нет разницы), оставив стол, Есения и Елисей приблизились к кровати. За несколько секунд до того, чтобы упасть в нее и сплестись, Елисей немножко грубее, чем обычно, тронул пульсирующую, как будто всегда с чем-то борющуюся, талию Есени. Горячими от застолья и чувства праздника руками он взял Есению за обе щеки.

— Не могу на тебя наглядеться.

— Красота в глазах смотрящего? — улыбнулась Есения.

— Нет, — ответил Елисей, — только в тебе.

Слова отзвучали от стен и пронзили мелкие, как глаза летучих мышей, елочные украшения, сделанные из окрашенной в металллик пластмассы, те украшения, которые давно не имеют названия и которые дома все деловито называют «эта штука» или «ну, эти».

Локти обоих впились в подушку, оставив на ней остроносые следы: Есения и Елисей ласкали друг друга.

Сам Елисей из года в год загадывал одно и то же желание: чтобы все, что хочет Есения, исполнялось. Есения это знала и поражалась тому, насколько муж отдается их любви, отдается с не свойственными мужчине перманентным самозабвением и покоем. Есения же гладила рыжие, точь-в-точь такие, как ее собственные, волосы Елисея и с секунды на секунду ждала курантов. Как только забили, она страстно поцеловала мужа и загадала желание.

«Гадать». В некоторых языках это слово означает говорить, беседовать, держать речь. Но как далеко желание Есени было от слов! В каждой ноте фразы, которую то шептала, впечатывая в поцелуй, то проговаривала Есения, была жажда жизни, именно такой жизни, которую Есения сама прикажет исполнять миру; в нем была крепко натянутая струна бытия, способная преобразовать в свет даже самое безнадежное и заклеименное. Такое чувствуют раз или два с рождения до смерти, не больше; и каждый прекрасно знает, когда у него был такой момент, коль скоро считает себя мечтательным, верующим или романтическим человеком. Долгими показались куранты. Растянутые

во времени, Есения слышала начало и конец каждого гулко-го резонансного звука; она замечала полу- и четверть тона, силясь уловить в них, таких же разных, как двенадцать месяцев, логику, так же точно, как привыкший к гармонической музыке человек пытается впервые уложить в сознании бесноватую агармоническую гамму. Есения загадала.

— Хочу, чтобы мы стали Одним.

Как мороз, щетина Елисея покалывала подбородок; курносый носик Есени упира-лся в другой, расщепленный некогда в детстве и поэтому горбатый нос. Мандарины на столе были оставлены — и песчаная простыня кровати цвета жареного кешью превра-тилась в то, что в молодости привлекательнее новогодней ночи на улице: в неосязаемый фон пота, рывков и клятв.

* * *

В комнату заглянул свет: на улице все-таки похолодало, окоченелое солнце в кло-чья разбило туман. Из-под коричневого одеяла, расстеленного по всей ширине кровати, пестрели кончики тыквенно-рыжих, с янтарной глубиной отлива, волос.

— Что тебе снилось?

Голос был мягкий, не мужской и не женский, ангельско-андрогинный, но очень глу-бокий. Тот, кто лежал на кровати, дернулся.

— Что тебе снилось?

Коричневое одеяло зашевелилось, став из предрассветной пустыни ходящей и по-ющей дюной.

— Милая, Милый. Милый, Милая...

Тот, кто лежал на кровати, кого-то суетливо искал руками. Руки то и дело высовы-вались из-под одеяла, ошупывали простыню — и, никого не найдя, юркали обрат-но. Матовые ногти и костлявые запястья появлялись десятки раз, и все безуспешно. Вдруг одеяло откинулось: от угла до угла.

Существо, лежавшее на кровати, удивилось собственной наготе и замерло в той позе, в которой лежало под одеялом.

Диафрагму Существа распирало необыкновенное, неизвестное доселе, всестороннее блаженство (еще чуть-чуть — и нестерпимая боль!). Однако в основе этого блаженства лежало упрямое, мерзкое чувство, сосущее силы. До сих пор Существо не могло разо-браться, откуда это чувство взялось.

Пока Существо не видело себя — ему известны были лишь собственные руки (го-ворят, за этим и пеленают — будто связывают — младенца, чтобы он не повредил се-бя в первую очередь неуправляемыми руками), они были смуглые, костлявые и раз-ные: одна — мужская, одна — женская. Были известны и ноги, которые тоже ока-зались разными, хотя и менее, чем руки; ноги походили на неудачную заготовку к лепке, на слепок; да и начинались они только от колен, до колен же — сходились во что-то единое, неподвластное еще Существо. Обособленного пениса не было. Гени-талии Существа представляли собой вагину, в которую сбоку, неестественно, заходил член, развивавшийся из того же тела. Дальше (выше) талии Существо себя не виде-ло, этому мешала выпуклость в районе груди, там, куда Елисей обычно прижимал чайную кружку.

Как крот, роющий в террариуме свою нору, не подозревающий, что террариум по-луоткрыт, откинув одеяло, Существо ерзало по простыне. Десять или пятнадцать ми-нут спустя Существо ринулось к прикроватному столику, привстав на матрасе на ко-лени — на столике лежал томик Хмельницкого. Казалось, что-то внешнее, незнакомое, останавливает Существо от того, чтобы прочитать стихи. Рядом с томиком лежала за-жигалка. Существо остановилось, нависая над столом, а его лицо приобрело жалкое,

нежное выражение. Оно не могло решить. Через пару мгновений — тактов, на которые делит нашу жизнь богоморфный, безмянный демиург — Существо схватило книжечку стихов и открыло ее на первой попавшейся странице.

Хруст. Соломенная нежность.
Снежный запах от стекла.
Черепичная поверхность
Черепицей истекла.

И рифмует отраженьё
На зрачки в моем окне.
Хруст. Бесцельное движенье
По прилипшей простыне².

Хмельницкий — поэт, которого Существо когда-то знало; парень с точеными скулами и надменными глазами — писал, как говорил: будто рядом. Эмоция заученного наслаждения стихами сменилась в Существое отвращением, тоже на удивление привычным; и Существо швырнуло книжку стихов назад, на столик, задев зажигалку и бережно ее поправив.

Существо село на кровать, но быстро, минуя это бессмысленное в его положении занятие, встало.

Оно метнулось было в сторону зеркала, однако быстро себя одернуло: не в его состоянии было сейчас смотреться. Что могло дать зеркало? Плоское, лишённое самости и только отражающее других — защитная краска, плюс амальгама, плюс стекло — зеркало ни на йоту не выразило бы того, что происходило у Существа внутри. А разве не именно этого мы хотим, когда подходим к зеркалу? Лучшая косметика — любовь; и ждать, ждать у зеркала, когда она проявится, подсветит тонкую кожу — удел многих стремящихся быть прекрасными. Так, Существо хотело найти нейтральную зону в квартире — ту, которая не таила бы опасности узнать о себе больше. Однако страх увидеть себя переплетался в поведении Существа с поразительной привычкой к себе, как будто оно если еще не знало, то, по крайней мере, давным-давно себя любило и ожидало.

Стоя посреди квартиры, со взглядом, обращенным внутрь, Существо заметило вдруг мандариновую корку, затерявшуюся в тени стола, — оно машинально бросилось к ней и выбросило корку в мусорное ведро. Удивившись себе, Существо снова вернулось в унылое, но осознанное и просветленное состояние деятельного раздумья.

Нейтральной зоной могло оказаться место подле окна.

Раза в два — точнее, ровно в два раза — шире обычного человека, Существо подошло к окну и стало вглядываться в плотный лабиринт дорог. Вот тротуар, вот граффити на асфальте (буквы еще не стерлись), вот дорожка, по которой вечером каждого рабочего дня Есения бежала — спешила к Елисею, и волосы развевались, медные, сливаясь с закатом, и даже сердце чуть-чуть колотилось, как у подростка. Существо с испуганием таранилось в окно. Внезапно, как на проявляемой фотопленке, в узор тротуаров стали вклиниваться очертания кого-то сказочного и большого. Нейтрального места в квартире не было. Из окна на Существо смотрело собственное отражение: смешное, несомненно, уродливое, но... в чем-то нечеловечески очаровательное. В области груди, там, куда (как Существо уже не раз вспомнило) Елисей обычно прижимал чайную кружку, находилась жуткая выпуклость, похожая на рубец, но гораздо более бутафорская, как будто вылепленная из глины натуральных бежевых и нежно-

² Хмельницкий Н. «Хруст. Соломенная нежность...»: Стихотворения, 2021.

малиновых оттенков, их цвет был различим даже в сусальном серебре окна. Эта выпуклость начиналась ото лба и проходила до пупка; в районе талии пузырилась жуткими, пугающими волдырями, пугающими тем, что они совершенно не зудели, что их невозможно было почувствовать, как мы не чувствуем кончики ушей. Голова Существа была неровной, неовальной формы.

Теперь Существо могло разглядеть свое лицо. Лицо было красивым.

В тишине настороженно, так, как трогают умершего или прокаженного, Существо поднесло вытянутые женские пальцы правой руки к поверхности окна и, содрогаясь, медленно присаживаясь на корточки, повело вспотевшими подушечками пальцев вниз по стеклянной глади. Дойдя в своем съезжающем движении до пола и наконец присев, Существо, хрипя и улыбаясь просветленной, но какой-то изможденной и неправильной улыбкой, зарыдало.

— Мы сплелись! Соединились в Одно!

Эйфория и упоение от собственной целостности («А как иначе?») — не понимало Существо) наполняли гигантское неуклюжее тело.

Мелкими и легкими шажками Существо стало кружить по квартире. Оно периодически останавливалось и выполняло нечто странное: целовало свои руки, обнимало себя за плечи и предплечья. При поцелуях оно закрывало глаза, и его длинные ребяческие ресницы делали мимику послушливой и простой.

Со стоявшей в углу елки беспричинно упал шарик, покотившись к входной двери. Существо стало стыдно за нарушенную дзынькающую тишину, но потом оно вспомнило, что никого, кроме него, рядом нет.

* * *

Нетрудно было помнить, что к семнадцати часам первого января Елисею — «Стоп, получается, мне?» — запнулось Существо — нужно приготовить торт.

— Тревожся не тревожся, а испечь торт никогда не бывает лишним, — сказала оно себе.

Боком (как проходят мимо чего-то хрупкого или с рюкзаком в метро) Существо прошло мимо новогоднего стола, стоявшего в гостиной, проникло на кухню и закрыло за собой дверь. Сосущее чувство не прекращалось.

Существо посмотрело вокруг: у стенки, за подставкой для ножей виднелась приготовленная с декабря вафельная печать, миска черники теснила расставленные в холодильнике тубики разноцветной глазури, в выключенной духовке стояло пастельное безе; хороший, яркий дополуденный свет освещал стол: для искусства все было готово.

«Лазурные тона, космическая тема, фигурки молодоженов, начинка — пралине», — взбивало копну тыквенных волос Существо.

Оно заметило, еще не приступив к процессу, что ему захотелось включить музыку. Так, чтобы играла фоном. Ни Есения, ни Елисей никогда этого не делали. Напротив, тягу к заполнению тишины Елисей в шутку называл «уликой одиночества». Вдруг Существо осенило:

— Одиночество! Это сосущее чувство внутри — обыкновенное одиночество.

Музыку Существо все-таки не включило.

Склонив над столешницей свою огромную, испещренную волдырями — практически швами — грудь, Существо приступило к приготовлению свадебного торта. Обычно в этот момент Есения и Елисей, стоя бок о бок, обсуждали будущее произведение — и пальцы на руках переплетались не с намеренной нежностью, а вдруг, и идеи рождались почти что сами собой, и, несмотря на ссоры, именно в эти моменты Есения и Елисей принимали друг друга так честно, что дышали, казалось, в унисон. Что же от этого осталось?

Бисквиты получились сразу, точно на автомате: некому было одергивать озорную, нетерпеливую Есению, дежурящую около духовки, от того, чтобы Есения раньше времени ее не открыла. Никто не теребил темненькой наманикюренной рукой застежку Елисейевой толстовки — мол, сними, жарко. Не было слышно размеренных, шутливо нудных, но ласковых слов: «Главная причина, Милая, по которой бисквит после выпечки может опадать, заключается в оптимально подобранной температуре в духовке. Если температура недостаточно высокая — бисквит поднимется, но его центр не сможет подняться, и получится впалым. А если температура слишком высокая, бисквит быстро поднимется в духовке и сильно зарумянится, но внутри не успеет пропечься и опадет сразу после выпечки³. И самое важное: духовку ни в коем случае нельзя открывать!» — «Слышу, мой кондитер, слышу», — не отвечала миниатюрная, сидящая сложа ногу на ногу у духовки богиня, будто сама созданная из бисквитов и безе.

В приготовлении пралине Существо не было таким же опытным. Несмотря на многие годы практики — которая почему-то отчетливо и живо вспыхивала в памяти, — Существо знало, что склонно повторять ошибки. Чтобы приготовить пралине, нужно залить горячей карамелью ассорти из слегка поджаренных орехов, дать застыть, а потом разломать и раскрошить. Чаще всего Существо не прожаривало орехи, за счет чего вкус пралине получался недостаточно богатым. Еще одной ошибкой было — взять не ореховое ассорти, а какой-нибудь один вид: только кешью или только миндаль. В этот раз Существо предусмотрело все: на раскаленной сковородке румянились разные орехи. Существо думало о том, что хорошо бы перемолоть в пралине не весь карамельно-ореховый пласт, а оставить несколько кусочков застывшей ореховой галактики — это будет созвездие на космическом свадебном торте. Существо отвело взгляд на крутящуюся подставку, на которой через три-четыре часа уже должен был выситься торт. Жаль, Есения не видит, как ловко оно делает лучшее в мире пралине.

Покончив с пралине, Существо приступило к крему. Разлив его в три плошки, оно покрасило крем в три цвета: ультрамариновый, небесно-голубой и розовый. Часть последнего пошла внутрь торта, а остальные — чтобы его задекорировать. Кондитерской лопаткой Существо нанесло крем на бока торта, мазками, и выровняло шпателем. Цвета смешались, образуя хаотичные бесформенные пятна — и вот Существо глядело в глаза настоящему космосу, расцветающему на кухне московской хрущевки.

— Кандурин, — вспомнило Существо вслух, — блестящий пищевой краситель.

Метнулось в комнату, к коробке, схватило серебряные блески и возвратилось на кухню так быстро, как будто космос на торте мог без него отцвести. Царапая жесткой кистью палец, Существо разбрызгало кандурин на торт — космос засиял.

Осталось установить на торт кусочек карамельно-ореховой галактики и изготовить фигурки из мастики. Существо взяло нож и надрезало застывшую засахаренную плитку, лежавшую на противне. Она не поддавалась. Тогда Существо надавило на уголок плитки кончиком ножа. Противень привстал, перевернулся и с грохотом упал на пол. Нож соскочил и врезался в бедро Существо, пошла кровь.

Существо почувствовало себя странно — так, будто ему больно за двоих, причем больно по-разному: с одной стороны ныл и покалывал свежий порез, с другой — хотелось плакать от чего-то упущенного и мимолежного, едва ухватываемого в клетки слов.

Порез пульсировал. Но Существо не могло помочь Есени или Елисею (Есени, пожалуйста, важнее сперва помочь Есени!) — потому что было одно. Все, что оно могло, это промыть и заклеить пластырем — не обычным, а детским, с бегемотиком — пульсирующую бордовую полоску. Но ведь каждому любящему или любимому известно, что ранки проходят не потому, что регенерируется кожа, а потому только, что кто-то о них жалеет.

³ Источник: https://dzen.ru/a/X8Ct_iELMX0eMD9b. Рецепт.

Изготовление фигурок из мастики Существо оставило напоследок. Оно не завидовало фигуркам — как когда-то липе и маньчжурскому ореху — напротив, Существо испытывало к ним любовь. Точнее, любовь к любви тех, кого эти фигурки изображали.

— Что есть нежность, как не вечная спешка, тяга к друг другу и стремление быть одним? — шепнуло статуэткам Существо и тут же усомнилось в сказанном.

Стройная, мерцающая, в тонком синем платье из сахарного шелка, на чужом свадебном торте стояла фигурка невесты, счастливой и густоволосой девушки.

«В моем доме сейчас такой нет», — подумало Существо и уперлось взглядом в сапфировый гребень (миллиметр мастики, не больше) в невестиных волосах.

В семнадцать часов раздался дверной звонок. По привычке как ни в чем не бывало Существо кинулось к двери. Обнаружив себя на последнем повороте замка, оно забеспокоилось: было в его виде что-то, что, вероятно, посторонние люди видеть не хотели.

— Вынесу через пять минут. Отойдите пока от двери, — буркнуло Существо.

В голубой коробке с прозрачными стенками из тонкого пластика торт был выставлен за дверь. Зря курьер — должен был приехать курьер, но приехал папа невесты — пытался вновь дозвониться до Существа со словами восхищения и благодарности: никто не стоял у двери.

Когда Существо выходило из кухни, на обоях от пергаментного света лампы (той, которая обычно крепится рядом с вытяжкой, над духовкой) были видны две тени: одна худенькая и гибкая, а вторая такого же роста, помощнее и пошире. В груди у Существа бились два сердца (оно слышало это биение отчетливо, то с правой, то с левой стороны): одно — часто и крохотно, а другое — обременительнее и реже.

* * *

Выполнив работу, Существо стало скучать. Оно не помнило, куда делись ближайšie три часа, но к вечеру по старой памяти начало расстилать кровать. Сосущее чувство — как выяснилось, чувство одиночества — достигало своей полноты: Существо стало сложно передвигаться. Причиной последнего были еще и ноги, слипшиеся и тяжеловесные. Спасала привычка.

Именно в этот час Есения и Елисей обыкновенно заводили мучительные ночные разговоры.

Существо хотело было ободриться: какое счастье, мол, что разговоров сейчас нет — однако без промедления осеклось. Оно вспомнило вдруг, какие в те моменты были уступчивые движения у Елисея, какие потрескавшиеся губы (их, несмотря на «Милая, для меня бессмысленны лишние слова» или «Я не могу представить, как это — быть Одним», хотелось целовать и целовать), какие были добрые, по-мужски нежные глаза. Елисей часто вставал во время и вопреки ультрамариновой ночи и подходил к Есении со спины, проводя руками по ее векам: «Не волнуйся, Любимая, засыпай. Пусть мелочи тебя не беспокоят». И сама тогда не зная, Есения была самой счастливой девушкой на свете, хоть и ненавидела избитую Елисееву фразу «Ты самая лучшая».

Но сейчас больше всего Существо ненавидело себя. Это оно во всем виновато! Виновато в этих пустых, монотонных шагах по холодной новогодней квартире, в свадебном торте, который мог бы получиться лучше, готовь его не оно, а Есения с Елисеем, в этом отупляющем чувстве томительного блаженства, которое, как фальшивый небесный свод, стоит на плечах у Атланта — обыкновенного и бесконечного одиночества.

— Я Одно! — взвыло Существо. — Есечка, где же ты? — жалостливо проскулило оно, обращаясь то ли к Елисею, то ли к Есении, то ли к обоим сразу.

Одно, одно, одно...

Когда больно, взгляд впивается во все, что есть: Существо очень хорошо запомнило узор на занавесках в гостиной, черепашковый карниз, даже вмятинку на стене.

Опираясь на привычку, как калека опирается на костыль, а вьющееся растение — на ограду, Существо стало набирать ванну.

— Для кого? Никто ведь не придет.

Существо подставляло пальцы под перламутровые струйки воды. В ванну оно не вместились: с трудом втиснуло туда ноги и массивные бедра. Порез на бедре под ярким детским пластырем продолжал щипать. Он не затягивался. Так же как две тысячи и триста лет назад в Сиракузах из ванны одного сицилийского ученого, из ванны Существа выплеснулась вода. Оно не рассчитало свой вес. Что-то останавливало его от того, чтобы задернуть шторку.

«Елисей никогда не завешивал, и все выплескивалось наружу, — вспомнило Существо, — он говорил... Что же он говорил... Что мы все равно вдвоем и никого нет! Зачем завешивать?»

Неожиданно Существо (при этой мысли о разности, которая была точно струя свежего воздуха) почувствовало, что двигаться стало легче.

«Все выплескивалось наружу, и Есения ругалась. А потом опускалась к Елисею в ванну, и они или придумывали новые рецепты, или... — продолжало вспоминать Существо. — Боже мой, Елисей не знал, что такое, когда „никого нет“. „Никого нет“ — это не тогда, это сейчас».

Вспотевшее и распаренное, Существо ждало человека, которого нет. Но его не было не потому, что ушел, не потому, что умер — а потому, что...

— Потому что ты — он сам, — сказала себе Существо.

Оно лежало в ванне. Поняло, что забыло выключить кран, и теперь вода стекала через белый полукруглый край прямо на кафельный пол. Как ванна переполнялась водой, так мысли Существа начали наполнять сюжеты из их с Елисеем или их с Есенией (имеет ли это теперь значение?) жизни. Оно вспомнило все их особенности, все разногласия, перебрало в голове то, что их различало — все до последней инаковости. От этого становилось легче.

Перечислив все, Существо дошло до кровати, уже расстеленной, и, без сил, провалилось в сон.

* * *

Есения и Елисей проснулись рано, к пяти часам, как обычно не просыпалась даже Есения. Испуганные и распаленные, они, видно, плакали во сне.

На прикроватном столике не было вишневого «Чапмэна», он, вероятно, кончился позавчерашним утром. Есения вскочила с кровати, смяв одеяло цвета жареного кешью (такого же точно, как цвет орехов для пралине), и через десять минут была уже в табачном ларьке напротив продуктового магазина. В сиреневое небо впивались яркие белые деревья, и ослепительная зима опиралась на малиновые дома.

Вернувшись и отворив входную дверь, Есения сверкнула глазами (позже, когда у них с Елисеем родилась дочь, она говорила, что у мамы глаза такие же, как маньчжурский орех, а у папы такие же, как цветы липы), поставила на прикроватный столик «Чапмэн» и исчезла на кухне.

Есения и Елисей отделились ненадолго, с точки зрения вечности — на пару мгновений, отделились, чтобы бежать друг к другу. Пластырь с бегемотиком оторвался и прилип к простыне.